

Е В Р А З И Я
И ДРУГИЕ
СТИХОТВОРЕНИЯ
АЛЕКСЕЯ ПУРИНА

«ПУШКИНСКИЙ ФОНД»
МСМХСУ



* * *

Выглядеши в око - лишь белое льняное
полотно - речное, кедровое,
Плещущая талочка, плат
из Туриня, плетное льняное,
Умиленье... Волга, соборы.

И метки блаженного, сирого
мокрого милого серебра,
Словно зарский итель у Серова
И сиротою веданочная... Слово
Там люблю, что колет под щебро!

Топит Пасха сиротно-ителю
Ткань нежит. Куда ты поверну
Речь-лвцу, прозрачней еще
Белизну расплавилась джевию,
Такой воем светлей сорно.

И стекло, пройде оном плавильной,
Возникает итх сей светомлюю
Собирает слабое светло.
Слеп Фома, не веданочный блага,
И надводной итх соу - думата,
А не лев востоден, не криво.

Феврале 1991

А. П.

Е В Р А З И Я

И ДРУГИЕ

СТИХОТВОРЕНИЯ

АЛЕКСЕЯ ПУРИНА

Иваниселому Юрию Колкеру

с любовью и его

красивыми стихами

С.П.Б.

Б.июне 1995

А.Пурин

ББК 84. Р7

**Марка издательства работы
*Сергея Семенова***

ISBN 5—85767—068—3

© А. Пурин, 1995

ДРУГИЕ СТИХОТВОРЕНИЯ

Ольге Кругловой

АЛЕКСАНДРО - НЕВСКАЯ ЛАВРА

1

Патлатых тополей столетний люминал,
и нервный диспансер, и полихлорвинила
индустриальный гной... Обводный спит канал
куском хозяйственного мыла.

Ну и наляпано! Пилотов и купцов
пропеллеры и катафалки...
Мне жаль Евгения и асов-храбрецов
в червивотесной раздевалке!

Такой асбестовый утопанный большак,
что не до шуток.
Здесь в детских раковинах газом — что ни шаг —
горит грошовое забвенье незабудок.

И заключенные лечебных мастерских
выходят нас терзать своим игривым нравом —
жестикующей, ужимками... Таких
картин не вынести и травам!

Из глинистой дыры бетонная труба
торчит. От пота маслянисты —
разгорячила их спортивная борьба —
играют в волейбол семинаристы.

Гречиха чахлая. Булыжник площадной.
Протопают стройбат тупыми сапогами...
Или вертушкой в проходной
подталкивают нас — и очередь за нами?

Четыре в орденах дубасят домино.
Сопляк трещит мотоциклетом...
Как душно, Господи, должно
быть. тлеть в такой щебенке летом!

**Полуразрушил склеп бессмертия грибок,
валяется у ног разорванная клизма,
как если бы привел последний довод Бог
в обоснованье атеизма.**

2

**Тесный зал ожидания, базар антикварной
Лавры: вазы, чернильницы и циферблаты.
И ларцы. И в слепящей тиаре пожарный —
черепаха, улитка Афины Паллады.
И нагие эфебы над урной матроны —
вот конфуз-то! — соблазны фарфоровой кожи...
И бордельные грации, влажные стоны
источающие в неглиже по вельможе,
обступая его барельеф на ампирных
кабинетных часах остановленных... Дальше —
в балалаечных струнах и позах трактирных —
еще больше пленительной фальши.
Кто при жизни позволить себе выкрутасы
мог такие — лежать, опираясь на локоть,
скинув кивер? Не пляж ведь... А плисовый Стасо
и вприсядку сплясать норовит, и заокать...
Якоря и пропеллеры... Или буквально —
стыл у летчиков пламенный двигатель вместо?..
Бухенвальдский завет: кузнецу — наковальня,
наглецу — постамент для широкого жеста...
О, живые! Покуда вы живы — живите,
эта метафористика вам и не снилась:
грандиозная выросла липа из Витте —
смяла прах, но уже и сама накренилась.**



Давай печаль развеем — в сад
войдем, где те в земле лежат,
чьи книги мы забыли,
где тесно от нагретых плит,
где волокнистый свет стоит
в листве столбами пыли.

Вспугнув промасленных стрекоз,
давай войдем в обитель слез,
точней — в Музей скульптуры...
Хитин, жужжанье, духота.
Смотри, вот ангел без креста,
вот пухлые амуры.

Вот под оптическим стеклом —
его создатель... О былом
экскурсовод лепечет.
Гроба вокруг. Но, как-никак,
бессмертье пышное Плевак
зевак от страха лечит.

Какие розы, травы, зной!
Пятиконечный лист резной!
Нет смерти в недрах глины...
Чей бюст горит, как медный таз?
Чем успокаивает нас
осанка балерины?

1981

КОНЕЦ СЕЗОНА. НАЧАЛО СЕМИДЕСЯТЫХ

1

Заколачивают дачи на зиму. Бублики с каждым днем все черствее в булочной. Все меньше на пляже прогуливающейся публики. Никого не радует катер прогулочный.

Морозящий дождь. Плащи. Угасание фонтана около станции. Непонятно, для чего он еще шипит? В расписании электричек появились белые пятна.

Узники санатория надеются ли на потепление? Стучат костяшками домино об отсыревшие доски. Преобладают ржавые пиджаки местного населения, лацканы довоенной Латвии, выцветшие полоски...

Бисмарки-рыбаки и Гинденбурги-лесничие даже и пиво табачное пьют, нахмурясь. Желтая горечь и полное безразличие... Особнячище Ульманиса на улице Юрас,

как чемодан, приготовлен к отъезду. Спящие уже безвольно стрекозы даются в руки. Море — какое-то липкое, завалившее и некрасивое. Лучше с ним жить в разлуке.

2

Теннисные корты за янтарем соснового леса. Прозрачный вечер рождает ощущение потери веса вещами и телом в плаще. Дождливо пахнет жасмин в сыром туннеле аллеи, где Тао Юаньмин

приходит на ум и его хризантемы. Локоть, содранный о простыню, напомнит, что мертвый сезон

вот-вот наступит, что скоро не будешь трогать
и вдыхать ланолин волос, погружаясь в сон

после любви на лунной веранде; что мрака
и бронзы в парке все больше; что кроны — то бросит
в пот,
то проберет озноб, как связанного Исаака
на жестких, хрустящих сучьях; что страхом сведет
живот

от ожиданья серпа первых календ дальноторкой
прибалтийской осени; что пора собирать багаж
и прощаться с курортом, который лимонной коркой
пахнет — и винной пробкой, который, словно витраж,

рубиново-золотист и коньячно-солярен... С тмином
хлеб и вино с корицей в последний раз
примешь из млечных рук. И рижским новокаином —
инъекцией югендштиля — жаркий остудишь глаз.

Где сингапурский загар? Где греческий запах йода?
Где кварцевый пляжный блеск?.. Лишь, как
ненужный отвес
или застывший маятник, ульманисова Свобода
свисает с отяжелевших, насупившихся небес.

1981, 1983

ЛЕСНОЕ ОЗЕРО

Подростки громкие — кентавры! — на мопедах,
стрекозы трепетные — велосипедисты.
Дорога к озеру в таких петляет ведах
энтмологии, в легендах густолистных,
ветвистых, сводчатых, — как будто в пчеловода
поверить вечного тебе представлен случай.
Раздача щедрая — всем-всем по ложке меда.
То круп лоснящийся, то бензобак трескучий
к широкогрудому приделан торсу — орган
хитинно-складчатый, как у жука в подбрюшьи.
Лукавый пасечник июльский Томас Морган,
творец генетики, смеется, вездесущий...

Какое фырканье аттическое, ржанье —
на фоне северной природы полуспящей!
Зачем мы, времени и плоти каторжане,
в прошедший мрак глядим и в предстоящий
туман волнующий, с проворной, верткой рыбкой,
полуоглохшие, в прозрачной толще лежа?
Нет дна у озера. И было бы ошибкой
считать, что будущее прошлого дороже.
Лапта купальная. Заплыв. Самозабвенье.
На солнце — плависься. Под сенью хвой —
прохладно.
Часы отстегнуты... Остановись, мгновенье!
Не остановится, конечно же. И ладно.

1984

ФИЛАРМОНИЯ

Яблоку негде упасть в растревоженном улье.
Все не рассестся никак — передряги со скрипом.
За два столетья рассохлись от музыки стулья.
Хрипы продувки кончаются жалобным всхлипом
из саксофонной криветки. Мазок канифоли
каждый смычок получает. Прочистили ухо?
Как же убого все выглядит! Прямо до боли.
Фраки лоснятся... К чему эта вся показуха?
Паткие ножки пюпитров на жутком паркете.
Предпенсионный фаготик запуган — «спасите!» —
как в Государственном репинском тесном Совете —
полуплешивый, обшарпанный, списанный Витте...
Ну, наконец-то! Челночно-колковая прялка
тронулась. Нить пропустили сквозь третии скрипки...
О, душеедка волшебная! О, каннибалка!
Веки сожму, чтоб не видеть ботинки и штрипки.

1984

НОВЫЙ ЭРМИТАЖ

Бюсты, серые от тучной почвы,
для чего свою прервали ночь вы
и столпились в зале? Ну и ну,
что построил этот Лео Кленце! —
Склеп! И то египетский! Коленце
жуткое! До Греции ль ему?

Снег. И мрак. И мавры у подъезда.
Хорошо, хоть в полночь не бывал
тут!.. Анубис лающий... Невеста,
прыгнувшая в выпуклый канал...
И неужто из того же теста
мы, что и Бальбин-микроцефал?

Пусть кривит здоровый скепсис Рима,
как цикута, Цицерону рот.
Тушат свет. И ночь непоправимый
начинает свой слепой обход.
Мимо жизни призрачно и мнимо
пирамида лестницы ведет.

1984



Свалка стрекоз в саквояжах трамвайного парка.
Пакля и пыль. Тополя выпускают волокна.
Вот и курсантам не терпится. Как же им жарко
в плотном сукне! Облепили огромные окна.

Осточертела зубрежка — скорей бы на воздух!
Осатанели от лекций, галдят обалдело.
До повседневной заботы о будущих звездах
и назначениях нет, что ли, нынче им дела?

Так разморило, что даже вагоновожатым
хочется быть — с ветерком все же едет. Так душно.
Тесно, как в кронах — июльской листве, салажатам.
Школьницам вниз поцелуй посылают воздушный.

За стадионом Нева неподвижно разлита, —
так же, как жизнь, серебрится, широкая, праздно.
Много работы, пожалуй, у их замполита —
кажется, воздух и тот преисполнен соблазна.

1985

КРЕСТОВСКИЕ КОРТЫ

Такие свежие на них трусы и майки,
как будто оксфордские раскрываешь книжки.
Аристократия из ресторанной шайки,
героев отпрыски, комфорта нуворишки!

Такое галечное пляжное шипенье —
на кортах, уханье дремотное прибоа,
что нет ни зависти, увы, ни осужденья —
лишь умиляешься метаморфозам строя.

В стране немыслимой, где шахматные туры
чуть не до уровня ракетной мощи взвиты, —
все удивляешься: как не пройдут цензуры
гамбиты бабочки узорчатой Лолиты?

Ребячий лепет веды! И мячик без оглядки
летает войлочный. И глаз бесцельно меток.
И упоительней ментоловой облатки
прохладца сбившихся со счета пятилеток.

1985

ЕЛАГИН ОСТРОВ

Гвозди ржавые и доски хлипкие,
над протокой заросли ветвистые.
Липкою и слизистой улиткою
проползает лето волокнистое.

Даже глади не нарушить веслами
маслянистой. Тщетна эта силища,
что владеет школьниками рослыми
и девицами из педучилища...

Что́ угар вина, хоть и крепленого,
терпкого, но все же ординарного,
против смертоносного зеленого
шелеста садово-календарного?

И уж забронировано место их.
Молодые каменеют лица их —
так же, как у тех пловчих асбестовых,
у метателей тех диска гипсовых...

Да и ты, среди куртин гуляющий
и чужим пыланием взволнованный,
радуешься вдруг всепоглощающей
тишине забвенья загипсованной.

1985

В ТЕАТРЕ

Мельпомена мертва, но на тризне ее осетрину
подают, и ситро, и бредовые горы икры.
Балерина-бизе раскружила, дрожа, пелерину...
Ни актрис, ни актеров крикливой не надо игры.

Дайте только лепной многоярусный плющ позолоты,
мшистый, стершийся плющ боязливо теснящихся ниш...
Архитектор, ты лжешь, — срисовавший на пасеке соты,
говоришь: сочинил шифоньерчик волшебный, —
шалишь!

О, матерчатый, о, фараоновский гробик флакона,
о, Диоров футлярчик, где юрким расставлена сеть
толстолинзым малькам, сигануть нороящим с балкона
в беззащитный партер — от обязанных, сидя, висеть!

Всех нас выпрыгнуть здесь подмывает соблазн... или
плюнуть.
Лучше на потолок, на плафон голозадый взглянуть.
Лучше слушать, не глядя, и гладить обивку, и дунуть
на пушилку, на волос — должно же слететь что-нибудь.

1986

ПОЛИКЛИНИКА

**У ларинголога столько слепящих вещей
никелированных — в громкой лоханке кривой,
эмалированной: пилочки женские, шприц,
щипчики, ложечки, ножницы гнутые... В мой
зев тонзиллитовый лезет, как в крипту, и луч
свой отраженный туда посылает со лба
хрупкий Стаханов отстиранный... Знобко-летуч
зыбкий эфирчик, и в зеркальце смотрит губа...**

**Кто в поликлинике пыльные пальмы завел,
оранжерейные стекла и ломкий крахмал?..
Под разговоров старушечьих тонкий помол
спящая очередь лампочный ловит сигнал...
Я бы всю жизнь в коридоре сквозном просидел,
все бы читал санлисток про цирроз и нефрит.
Что эти почки и печень, когда б не слабел
сказочный слуха и зренья электромагнит?**

1986

СЕВАСТОПОЛЬ

В Севастополе разгуливают вечером офицеры спереточные с женами — тоже гипсовыми. Южное наречие — рафинадное такое, пережженное, самопальное... Мне труднопредставима их дневная деятельность на линкоре. Кительными бюстами проплывают мимо в щедрой лавровишне аллегорий.

О, блаженный воздух единообразия!
Ничего нет безалабернее армии.
Разве Крым — еще Европа, а не Азия,
навсегда осоловевшая в казарме
и гареме?.. О, араукария,
пальма горделивая, прости грехи мои! —
Я растенья так же, как Макарова,
отличить не в состоянье, от Нахимова.

Для чего к петличкам знаки Зодиака
у миролюбивых мичманов привинчены?
Рай земной ведь — одеваться одинаково,
заводить пропеллеры давинчевы.
Хороши особенно курсанты-неофиты,
прозелиты. Вымерли гусары и драгуны.
Только эти в черноте графитовой
призрачно белеют над чернилами лагуны.

1987

ЮЖНОБЕРЕЖНОЕ

1

Вертолет сотрясает пространство, подробным брюхом нависая. Но крылышки сложит, подставь лишь ноготь. Поразительно: звук ощущаешь уже не ухом, а желудком — обедать пора, должно быть.

Не пора? Или сбегать под зонт и стакан нарзана засадить под брезентовым тентом? И снова навзничь лечь... В закрытых глазах (из раннего Протазанова?) мельтешить начинает, подрагивать, радужно
безобразничать.

А раскроешь — резиновым мячиком замороженная пляшущая окружность незримой вазы, краснофигурный Матисс... Вмажут сейчас по роже!..
Пляжные волейбольные классы. Ленивые водолазы.

От простыни отлепляешься, к взбалмошной Амфитрите движешься, к Потифарше, все кружева, булавки, рюши в ногах растрепавшей; подпрыгиваешь —
смотри! —
от бриллиантовых пальцев спасая плавки.

Все норовит уронить — то песчаный снизу выдернув коврик, то прыгнув на грудь. В истерику эту сервантом рушишься вдруг, раскрошив сервизы адреналина. И в ужасе чешешь к берегу.

2

Там, где платан канареечный скрученные чинарики в сентябре рассыпает по стульям слоновой кости, по прогулочной мебели палубной с привкусом
Киренаики
и корицы, — при чтении меню нечто вроде злости

возникает, поскольку не можешь по кличкам пицци,
поперхнувшись раз пять и чихнув на «числе» и «хере»
(«чахохбили», «чанахи» и что-то еще почище!),
консистенцию блюд предсказать ни в малейшей мере.

И сидишь. И зубастую пробочку крутишь, гвалтом
одурманенный пляжным и ревом угрюмым моря.
И не помнишь, не знаешь — как жить дальше. что
заказал там?
И два первых приносят и ставят, тебя позоря...

Весь Кавказ в белом кителе щурится, курит трубку,
на лазутчика глядя улыбочиво, словно вафли
алазанские оды пс.ущего: как скорлупку,
раздавить ли?.. На юге не ведаешь: сон ли, явь ли?

Целый день в барабане стиральном тебя вертели.
Жизнь и смерть, панымазш, не главный тэпэр вопрос...
Засыпая, и то — продолжаешь нырять в постели
под шершавый шумок разминаемых папирос.

1987

МИТРОХИН

Л. Я. Гинзбург

1

Ничего, кроме книг и рисунков, и книг,
и окна в тополиные тесные ветки...

И Митрохина, кажется, поздний цветник —
тоже проза такая; записки, заметки.

И достаточно нескольких взвешенных фраз,
с папиросную пачку рисуночков, чтобы
передать напряженье прослоек и масс,
все растенья и вещи, глядящие в оба.

Только с хрупкой вещуньей с ума не сойти
можно в ужасе этом, с кузминской «вещицей»,
где взволнованный Моцарт сидит взаперти
желтоглазой спасительной птицей.

Только с грифелем острым, с осанкой щегла,
с твердым голосом внятным. Слезы и оглядки,
лести — грубая эра спустить не могла, —
только прозу — в ее неподкупном порядке.

2

Кроме карандашиков двух-трех шестигранных
школьных, оказалось, ничего не нужно.
Где гигантомания в золоченых рамах,
время воспевавшая пышно и натужно?

Факельная эра знахарская, карстами,
штольнями зияющая, вот он — твой Тит Ливий!
Ничего страшнее пузырьков с лекарствами,
старческих, не видел я... жизнелюбивей.

О, как все вожди ужасны травоядные —
гусеницы жадные! Жизнь — насквозь из дрожи...

**Венских опустелых стульев неоглядные
рощи... И цветы на овощи похожи.**

**Женщины с колясками детскими, визгливыми,
где вы? И кузминские, с томной стрижкой, денди?
Рыбкою жестяночной смерть превозмогли вы или
бабочкой приклеились к липкой киноленте?**

**Или это ваши черепные-грецкие
хрупкие скорлупки здесь — по шесть и по три?..
Радужные карие воды москворецкие,
голубые невские, кровь — в Иртыше и Оudere...**

1987



С консервной баночкой запаянной ужасной,
с фанерной жалобной коробочкой фигурной
топтанье липкое по глине желто-красной,
скребком ободранной, — с картоночкой халтурной,
то поднимаемой — наклонной, вертикальной,
то опускаемой, где сложно развернуться, —
с боязнью каменной одной маниакальной,
что одноразовые ручки оборвутся...

Прораб с нарядами, возница-алкоголик...
Списать — и кончено!.. Тупой толпой, как овцы,
в пейзаже хлипеньком кладбищенских буколик
несем, — и кажется: вот ручка оборвется...
Тяп-ляп-пристанище на сто тысячелетий!
С жужжащим ключиком игрушка заводная
(который в очереди — первый, сотый, третий?),
как сам не выпаду из этого ряда я?

Сознание словно бы уснуло. Слава Богу!
Зачем перчатки не надел? Вот идиотство.
Не поскользнуться бы. Прохлюпать только в ногу...
Кто это гнусное возделал садоводство?
Такие пошлости — почти бесстыдство — слышать!
Подальше! Лучше постоять среди курящих...
Не простудиться бы, стерпеть весь ужас, выжить —
не хуже плачущих и с дрожью говорящих.

1987

СТАНЦИЯ ЧОП

Все карпатские туннели, все защелки и щеколды
карабинная нам стража отворяла,
выезжающим из сейфа... Не обол, так валидол ты
пососи — и успокойся... С верхней полки все сползало
одеяло.

Проводник надел фуражку, застегнулся, туалеты —
точно фокусник — защелкнул, разогнал всех по местам:
дескать, Чоп — и извините. Взвизгнув, выдохнуло
где-то
снизу. В емкости железной — цокот, топот, тарарам...

Ах, Карпаты, вы, Карпаты, с волоокою луною
галисийскою и ваксой — ну хоть выколи глаза!..
Всех соседей слева-справа прошерстили за стеною,
вот и к нам — крупнозернистая кирза.

Дверь-каталка отлетает, и рентгеновские струи —
из сержантских электрических зрачков.
«Ну-ка, встаньте!» — нас Отчизна, не щедра на
поцелуи,
в паспорт чмокнула печаткой под чечетку каблуков.

Что забыл ты в несерьезной, рассупоненной Европе,
где ленивый, полусонный пограничник-чех
лишь ухмылку вызвать может у всех тех, кто вздрючен
в Чопе,
только жалкую улыбку, только нервный смех?

Проводник опять расстегнут, с головой простоволосой
дребезжанье чайных ложек предлагает из дверей...
Или Дракула — приснился? Но кровавые засосы
лиловеют в красной книжице моей.

1987

БУДАПЕШТСКИЙ ЭКСПРЕСС

Ах, мадьярочки-венгерки в коридоре, покурить,
вдруг растрепанные ветром, разрешите мне пройти
в тамбур, нежно протереться, расступитесь, дверь
открыть,
пропустите, дайте!.. Сердце тесно бьется взаперти.

И как раз на повороте скоростном... С ума сойду!
Словно поезд падать набок начинает вместе с нами
в жаркий свитер грубошерстный... Всю дорогу на виду
круглый купол эстергомский сложно вертят за холмами.

Здравствуй, здравствуй, многословный, изворотливый
Дунай
с яркой искоркой песочной в голубом, зеленом взоре!
В стекла дождь при солнце брызнет Зевсом в поисках
Данай...
Ну конечно, это эти, это трио в коридоре...

Не туристская поездка, а какое-то шитье,
вышиванье. Обгоняем с ветерком второй автобус!
Детский сон из серпантина, золотое забытье —
словно школьный гладколобый, синеглазый крутишь
глобус...

Так в раю, наверно, с нами разговаривать начнут
на одном из непонятных ослепительных наречий —
и внезапно осекутся. Но вот в эти пять секунд
словно Бог единый держит стебель общечеловечий.

1987

МЕТРО

От снопищ таких, что и колхозницам грудастым,
распухающим, как на дрожжах,
не обнять; от тыквиц, пышным алебастром
вздувшихся; от фриза в ложных овощах
коллективизации; от серпов — Усиром
съедешь засвинцованным вниз, сбоку — конвоир,
этаким раскормленным Якиром,
Косиором, Кировым —
к пращурам на ассирийский пир.

Бронзовые бычьи туши валит ящур.
И с трибуны — в шахту, в гулкий Вавилон,
в штольню... Ибо ясно же: алчущий обрящет
власть — в виде хрустальных, вьющихся колонн...
Но со всею дворней, стражей — и не страшно
на шакалью мордочку невзрачную взирать!
Светлое, всеобщее Будущее башней
вавилонской вниз растет и вспять.

Шестерни зубастые и медные дубравы,
и в трубе сырой змеинный свист...
Вот ты и дождался изобилия и славы,
крепколобый подземельщик-коммунист!
И не в римской тесной, грязной катакомбе,
а в Урарту громовом,
где крылатое чудовище в улыбчивом апломбе
то павлином хвост глазастый распускает,
то царапается львом.

1987

В ДНИ СЪЕЗДА

Ракушку транзистора рокочущую
от ушной не оторвать, урчащую
грозно и злорадно, точно хочешь всю-
вую стерпеть мучительную чащу —
учащую, ачащую, очащую,
рвущуюся и кровоточащую

Родину; всей дрожью назревающее,
рваное, рябое, говорящее
морище, кронштадтское вчера еще, —
страшное приданое, из ящика
выпущенное Пандоры, лающее...
О, кого мы растолкали спящего!

И не лучше ль то брамсоиграние,
то луготоптание, чем это
с цепкой мухой в ухе замирание?
Вставший Лазарь щурится от света —
на марксобородые старания
и политбюрошное либретто.

Вот и мы в разодранных заплатах,
в габсбургских разлезшихся лоскутках
грязных... Ну, ищите виноватых!
Прах и кровь — на выломанных прутьях
в Ферганах, Тифлисах и Гератах;
копоть на «Аврориных» орудьях.

Малая саперная лопатка...
Проживем, ответит кто, пять лет ли?
Спите, маршал с маршалшею, сладко.
Поюжнели ревельские петли.
Хлопкоробкам робкого десятка
нужен твой картавящий ответ ли?

Нет тебя на свете виноватей,
отщепенец от родно-народной
бережем-как-мать-и-аты-батъей
славноПэВэОшной и подводной
гордости — кровавей всех Хорватий,
Сербий, нерушимой и повзводной.

1989

СВЯТОЙ СЕБАСТЬЯН

В нише — такелажноволокнистый,
вертикальноскрученный, как трос, —
в душевой среде прозрачномглистой,
в ярости сырой, крупнозернистой —
Себастьян игольчатый пророс.

Стиснуты запястья на затылке,
гладкий столб лопатки холодит.
Словно в гулкой падающей бутылке,
он вот-вот бессмертие родит.

Закатив глаза полуподводные,
ледяной не сдерживая пот,
в обмороке сквозь водопроводные
арфы стреловидные плывет.
А ветвисторогие животные
хищным свистом целятся в живот...

Это Ты, Душесмеситель, плачешь
над язвимым, Скотовод-семит;
от зверей железнолобых прячешь
Карбышева в мутный сталагмит;
за холмом пылающим маячишь?

Или только дрожь адреналина
теплится в булавочном шелку, —
и живорожаемая глина
навсегда рассыплется в труху?
.....
Апеннин зеленых мандолина;
башенки, резные наверху.

1985, 1988

ВИНКЕЛЬМАН

Винкельман в Триесте умирает.
Он — как бы Пигмалион наоборот.
Он к античной плоти руки простирает,
торс стопарусный в объятия берет.

Вечереет Адриатика за шторой.
И трактира снизу слышен балаган.
В его сердце — словно спица, на которой
Апеннин неравновесье и Балкан.

Тучи вспучены, что твой Буонарроти.
Но барокко не ценимо им, увы:
все сивиллы в эксцентричном развороте,
все морщины бородатой головы...

В громе мраморной сплошной каменоломни,
в мастерской, где все, что лепят, то и бьют,
этот случай, в книге вычитав, запомни:
вот тоску каким кошмаром подошьют...

Еле теплится тяжелая олива.
Всем придется оплатить свои счета.
Не Элладу ли он ищет сиротливо?
О, какая всюду грязь и нищета!

И, соскальзывая в обморок последний,
промерзая, каменя под ножом,
наконец-то он — у Греции в передней.
Но — не Зевсовой, а ниже этажом.

1988

КУЗМИН

Шапка голландская — как у Кости
Сомова? И с пароходным басом,
с дымным Шаляпиным, едут гости.
Волга. Откос. То Клико, то квасом
эти стихи отдают. То гримом...
Ах, ну и пусть! То холстом, то мелом.
И доломан на его любимом
разве не тронет нас — миллом. смелом,

к смерти готовом В. К.? Как странно
выбрано место для их расплаты —
в высокогорном романе Манна!
Лишь позвоночник другой — Карпаты.
Будущей бойни и прежней блажи
дрожь. И форель разрывает сети.
В бархате счастья лежат лепажи.
Кажется: книги читая эти,

пользуешься неисправным душем —
то леденящим, то вдруг горячим.
Клио, а теплый?.. О тех, с кем дружим,
вместе с тобою, Кузмин, заплачем!
Юрочка — в барже? Фуше — в Париже.
Лезвие вновь разрослось «жиллета»...
Как угнездиться в бескровной нише?
Где Восемнадцатый век Милета?

1988



**Всадник-легат Афанасий Фет.
Доблестней кто меж солдат камены?
Всё он, ах! всё с собой на тот свет
жаждет унести, отворяя вены.**

**Крепкий кулак у него. И Рим
рта не раскрыл, как на все задвижки
был им защелкнут. Мы все горим
в инверсионной его одышке,**

**а не одна лишь Машенька Л.!
Каторга, казнь — хороши акварели!
Как долгополый критик посмел
и заикнуться про «робкие трели»?**

**Кони, полозья, огни, Херсон...
Всё, всё с собою возьмем! Ты слышишь,
Фет, голоса сквозь землистый сон?
Сам, Афанасий, устами их дышишь?**

**Вот бы — моими!.. Когда умрем,
этот в Чистилище флейт и птичек
сорокоустый сезам возьмем —
нерукотворный набор отмычек.**

1988



На столе — Чикаго тридцатых годов, вокзал переполненных пепельниц, косточки слив и птиц... То ли, то ли в прихожей мучительной им сказал, одевающимся? Хорошо ли последний блинчик получился улыбочный?.. Господи, как же все разговоры проскальзывают — суета, слова... Гладиолусы в сытой и бодрой своей красе — что арийцы у рва.

Эти сочные, облытые стебли тупой травы... Среди полых бутылок и пленок от сигарет остающийся — вылуцен столь же, увы, — доедает рассеянно винегрет. И вино допивает. Так, знаешь, среди цветов оставляют на свалке... Всегда веселей уйти, чем остаться. И доблести нет — прошептать «готов», но еще один год позади.

1989

Оксло отелей и посольств Эрато тусовалась
попочкой вихляющей Европу соблазняя... В основном,
ей влупили, глупенькой, — шестихвостой плетью
выпоролы, сладкоротую, жестоко.

1990

НЫРЯНИЕ С МОЛА

Подкатила к выпуклому глазу
вздутая волна: нырни,
манит; это трудно строить фразу,
а нырнуть — лишь голову склони...
Ах, нырну! Но раковинной сразу
стала, вроде вогнутой брони.

Лишь бетон корявый волнореза
оторвался от ступни,
не пивная пена, а железо —
на три метра ниже... О, верни! —
Обманула. Рюмочкой шартреза
поманила-нила-замани...

Расколот облобок диабазы,
озг оглоб,
злобно я — будылга или ваза,
звягнудая об.
Глухота — как бархатные осы
в трубочке ушной.
Водоросли льнут, простоволосы.
И стекло немое надо мной.

1991

АМСТЕРДАМ

В специальной лавочке, извините,
на канале — целые Нидерланды
я купил бы голыми. Заверните
эти жилы, железы, лазы, гланды,
всей Голландии судороги и нити,
волны впало-выпуклые, шаланды,

гениталий полные! Амфитриты
бед: взлетают брызги, соблазн сочится,
пот течет... Жемчужину хоть утри ты!
Отчего — не в жабре, а на ключице?..
Рыбный рынок ртутный, ряды Киприды.
Вот где стоит Снайдерсу подучиться!

Ах, утрехт кондомовый! Ах, я рдею...
Ах, гибрид Содома и Сенегала...
Но читал я где-то про орхидею
и пчелу такое, что дела мало
мне до Лота с ангелами, — идею
не пчела ли грешникам намигала,

назудела. Сладостный брат крылатый,
лепестком задушенный нашей страсти,
в нашей слизи тонущий: икры, латы
и дракон в пещере цветочной пасти,
в нежном зеве... Мэри, кому дала ты
заронить пыльцу, сцелокупить части?

И Творец, закручивающий эти вальсы,
несомненно, кончил бы жизнь в бедламе —
на подсолнухе, если бы его пальцы
золотые пойманы были нами.
Он — голландец. Линза дрожит в канальце —
и алмаз. И мельница с валунами.

1991

ТРИТОН

Легкий лен расстегивать, целуя
губы, горло, родинку, ребро,
ямочку подвздошную, вторую —
в первый раз увиденную ро...
Ах, словарик весь переберу я!
Но глаза уже забыли про
капельницу пуговиц, про сбрую
кожаную, пряжку-серебро,
«молнию» в теплице... Разворую
весь амбар овсяный, все добро!

Пыльные шнурки... Какое лето!
Ратный Рим,
Геркуланум!.. Только скинем это
с тел плетение — сгорим...
Нет, — тянучкой талого шербета
залоснимся, мой муслим,
лань моя, услада, дельфинетта,
мой олень смуглеющий, налим...
Ах, ослабим жилу арбалета
и сямский персик разорим!

Так ныряльщик — судорожный, душный
жемчуг, кислородное зерно
сдерживает в трубочке воздушной,
непослушной,
опиумной, винной, где темно, —
в глубине волны венозной, южной,
во вьюнах и водорослях, но
зря немеет рот его натужный:
из тритона все равно —
Божье имя и обол подушный —
выпорхнет оно.

1991

НИЖЕГОРОДСКИЕ АХИ

Слово в поэзии — лишнее как таковое.
Ры Никонова

1

Протагор подыгрывает Сократу.
С каждым ходом шахматным — гуще сети,
туже путы. Мудрости ждет в награду?
Да, любовь ведет диалоги эти.

Мотылек запутался в паутине.
И пустеют крупные аксиомы.
Подойди чуть ближе — и на картине
нет ни тел, ни фабулы, ни истома.

Ибо самый сильный соблазн — в природе
мысли, кисти, музыки, камня, слова.
И кружит нам головы мелкий вроде
сдвиг, уловка тайная рыболова.

А когда дурак в слабонервном раже
парашюта режет тугие путы,
то безлюбой власти не нужно даже
ни петли, ни извести, ни цикуты.

2

Лишь бы дыркой бублика в букве «нолик»
немота белела, а слов не надо:
слово — блеф и гибель... И я до коллик
хохотал бы, стул уронил, менада,
как и ты, когда бы среди буколик
европейских плыл — не по кромке ада.

Растоптал бы книгу, порвал, порезал,
бахромой настриг и облил бензином...
Так оракул серный дурманит Креза —
и крадется перс по сырым низинам...
Я и сам бы в разум пальнул с обреза,
но не здесь, в Эринний гнезде осином.

Разве град Энэн, где Ока на Волгу
наплывает веком слепой метели,
нас не нудит смысла искать иголку?
Где стога лидийские? Где? Не в те ли
«дыры», «булы», «щылы» ушли, не в щелку
азиатской зауми улетели?..

Воронье в кремлях. И подковки цепки
патруля. Тепло ли в троянском танке?
Спи спокойно, Эвий, кликуша в кепке, —
хлеба нет, но живы твои вакханки.
Стул ломают, пляшут, кричат: «Гнилая
ткань! Ткни, ткни!» — ровесницы Менелая.

3

Ни крутого сбитня никакого —
пух и прах.

Лишнее как таковое слово,
олово, полова...

Ах!

Только полоумье постового
с хрустом в каблуках.

Как легко мне, Господи, и пусто
улицей идти

Свёрдлова-Свердлова!

Яблоко-капуста,

кисло и медово,

крепкоусто

под стопой хрусти!

Или вроде талька или дуста...

Как все это ново!

Травести.

Никаких поджарок там и булок,
никаких шабли.

Ничего такого,

такового.

Ой-люди!

Никаких сандаловых шкатулок —
снег в горсти...

Ибо было слово, и у Бога
было слово, слово было Бог...

Как убого!

Только холм кремлевский белобоко
млеет, лежебока-
колобок.

4

Ни волшебной горы, ни отеля «Савой»,
только Волги белесой — с лихвой.
Только холода дуло у лба и тулуп,
только в булочной полный отлуп.
Где Саратов-амбар, самобранка-Торжок?
Только вьюги военной рожок.
Только сталинский сокол в тупых сапогах —
полированный цоколь, ледовый госстрах.
Ах, усатой фонетикой окай, Ока:
отчего это Чкалов начхал на Чека?..
Никаких Рябушинских. В их полом гнезде
кукушонок каприйский сидит на гвозде;
он кукует Роллану про лад-Беломор...
Всю махорку скурили с тех пор.
А стихи почитай: волчий улей, Тимур,
жмурки смысла, словесный сумбур.

5

Не салат, а поле Куликово —
косточки, и лук, и рис...
«Чаю, извините, никакого...
Кофию?..» — ну, вот еще каприз.
Ах, мерси, Марина Кулакова!
Рюмочки — и те перевелись,
выродились, вымахали, знаешь,
лопухом невымытым разрослись.
Госказну в фужеры наливаешь,
ковыряешь слизь.

А, гляди, вокруг еще балдеют
от щедрот,

замирают, сердцем холодеют,
округляют рот
оканьем... Ока не оскудеет,
серебра невпроворот.

О, с каким же мозгом конопатым
нужно жить в отечестве моем!
Только словом слава и крепка там,
и сладка. И емлет окоем
окарина, свищущая катам
и полкам. И мы свое споем.

6

Милиционеров бабьи полушубки,
ремешки и бляшки, мех...
Сизые такие голубки-голубки.

Их бы, эх!..

В валенках плывут, качаются как шляпки:
яблочный румянец, детский смех.

Их бы приголубить, глупых: гули-гули!

Клюй, птенец!

Крикни «караул!», усни на карауле,
в патруле. Пароль — «Пиздец»...

Всё, весельчакам, им — по болту, а хули?

Воздух — леденец.

Хочется молочную сунуть шоколадку —
пососите. Ох!

Как Ильич, пощупать теплую подкладку
и, как Осип, — складку,
грубую на вдох.

Стоит только сбацать «яблочко» вприсядку —
и в мозгу растёт еловый мох.

Первый космонавт из «Англетера» —

весь их слух,

вся любовь их ватная и вера.

Заспанный язык припух.

Кто жалчее милиционера,

беспризорней, ух?

Их бы, их бы в соловьиных перлах
пестовать, но — ах!
Их бин кранке нахтигаль, натюрлих,
зи зинд вольфен, — абгемахт!
До свиданья, милые, до свиданья, эрлихи —
с дырочками в славных черепах!

Но в груди колотится и сладко
млеет подолой.
Андрогин платоновский, двойчатка
с рацией, игрой и кобурой.
Парочка волчат правопорядка.
Дети Перестрой...

7

Розовато-белое, вернее —
серовато-алое шитье,
мешковиной рыхлой пламеня,
плащаницей выцветшей плывет —
инея барочная камя,
горла воспаленного налет!

Кто тебя, карминную, укутал
в гниловато-марлевою сеть?
Кто утыкал луковичный купол
иглами? Висеть
разрешил?.. Тяжелая шпалера —
нет, парча
старая так ало-тускросеро-
серебристо-горяча!

В феврале сухих голландских кружев
тлеет лен.
Я был тоже жемчуг. Ныне — ужас! —
тлен вселен.
Эта ленность, эта пена в кадке,
муть, квашня,
этот вот подвох в миропорядке
так страшит меня!

Но, как в жарколовой малярии,
все багряногруды снегири —
вроде млечной бусины-Марии,
глеющей Младенцем изнутри.
Тем, Кто скажет Лазарю: «Гори и
говори!»

8

Выглянешь в окно — лишь белое льняное
полотно — речное, неземное,
плащаница тающая, плат
из Турина, мленье ледяное,
умиление... Волга, говорят.

И пятна блаженного, сырого
мокрое лилово серебро,
словно царский китель у Серова
и сирень рыдающая... Слово
так люблю, что колет под ребро!

Топит Пасха снежно-нитяную
ткань пелен. Куда ни поверну я
речь-свечу, прозрачнее еще
белизну расплавил дневную,
талый воск сбегает горячо.

И стекло, пройдя огонь плавильный,
выпуклой психеей светосильной
собирает слабое светло.
Слеп Фома, не ведающий блага,
и надводный снег ему — бумага,
а не лен Господен, не крыло.

1991

ХУДОЖНИКУ

Такая козочка, такая... Вот и мы там — при этом ватмане — связать едва ли сможем, как вы, невнятные, два слова. Неотмытым в бензине кисточном — сравнение отложим.

Ну, «бородатая»? Ей бы картуз? В Карпатах какая разница — курить, мемекать, бляеть, овцу курчавую низин зеленоватых лузгой подсолнечной усеивать, лелеять?..

Здесь медь, что белочка, пушится. Цинк — что мышка. Sinn — значит «смысл»; Stein — «камень» означает. Букварь воробышка, январь Евфрата, стрижка стад Авраамовых — и палец не сучает.

Зрачок сужается, как если б из подвала нас к молу вывели, Эвксинский Понт в Коломне нашли, заплеванной. Как если б ночевала цветная бабочка в слепой каменоломне.

1991

НА БАШНЮ

Вверху, откуда лифт, вздыхая,
стекает, словно водолаз —
скользя резиной, Навзикая
сейчас всю правду спросит с нас.

Сейчас... Какой соблазн в капризном
силке, вверх загнупом: уверь!
Сейчас улыбчивый Улисс нам —
чрез пару рифм — отворит дверь.

«Выженелю?...» — О! — «Вамжененра?..
Скажите прямо!» — «Право, нра!..» —
Мизер и веер... Эфемерна,
психологизм, твоя игра —

замеры в зеркале по пояс
и прозаизмы начеку.
Сейчас!.. Сначала успокоюсь
и приготавлиюсь к поддавку.

Что ж я, дурак, сюда без розы
всплываю в клетке? Нет, не то.
Так: вроде прозы, вроде прозы...
прозообразно, но зато...

Рифмую... Как? Тут сухи ризы?
Здесь ткут? Здесь оцет? Где ж циклоп?
Здесь Пенелопа? — Вот сюрпризы!
Но тут и врежут. Прямо в лоб.

1992



Ледяные залпы ночной волны,
зимней Ялты воздух хмельной...
Оглянись, взгляни!.. Но глаза полны
не тобой, увы, и не мной —
кипарисом, пирсом... В слепящий слог
можно вслушиваться до утра.
А потом уснуть, не связав двух строк
о нашептанных свойствах стра...
Так бушует море, ребро к ребру
прижимая, глаз зеленой,
так ревет, что рад я: и я умру,
не сказав и слова о ней.
Погляди, вон тают огни, скользя
добежав до крайней черты...
Вон дрожат, теряясь... И нам нельзя.
«Хорошо», — лишь вздыхаешь ты.

1993

ЕВРАЗИЯ

ВНУТРЕННЯЯ РЕЦЕНЗИЯ

«Автор служил два года в лесозаготовительном ВСО, в КАССР, офицером. Ягоды и грибы. Ведра брусники и клюквы для Самого, для заместителей Самого. И никакой стрельбы, кроме лишь папиросной — пачка на полчаса (как же не дать — индульгенция!)...

Плохо ли, хорошо ли — трудно сказать — написано. Мрачная полоса следует за «веселой». Выпячивание, размусоливание собственноручной персоны.

Где (далее — список из пяти-десяти позиций)? Сомнительны, мягко скажем, оценки. Так, сценки. Версифицированный каприз. Застойные годы показаны с излишним ажиотажем.

Гротеск. Смакованье частных, отдельных, еще тут и там подчас-разве-место-имеющих-и-то-на-периферии дефектов.

Не без умелости. Но темы! Но книжный хлам! — Катуллы, Валгаллы, Ваалы, валькирии, «Снигири» и т. д. и т. п.

А поэтому -- не веришь.

N. N.♦

P. S.

Ну да. Не совсем при параде. И грязью забрызган китель. Но все же Муза — не кляуза. С надеждой на интерес неведомого читателя,

признательный *Сочинитель*.

СНИГИРЬ

В самом деле, должно быть, глуповатая флейта
птичьи эти мотивчики. Оттого и склонность такая
к побрякушкам, петличкам, погончикам, детская и
словно к спичечным этикеткам. Подобье земного рая
или светлого будущего, оставшегося в позднем
средневековье отрочества, вроде бесполой готики...
На столетье не грех ошибиться, припоминая козни
Козимо Медичи или то, как мы с Аликом разобрали
ходики —

в древнем эпосе как бы... Вот так же и здесь течение
времени остановлено, и нового не проплачет
ничего красногрудая флейта, и не имеет значения
смена начальников, жизнь ничего не значит.

Что с того, что твои капитанские зимние звездочки
покрупнеют в полковничьи, летние и близорукие?
Та же пташка сидит с металлическим клювом на
жердочке,
те же семечки сыплются подслеповатыми звуками.

НОВОГОДНИЙ НАРЯД

В Ломоносове, в Нижнем саду вспоминаю Верхние
Важины:
двухметровых сугробов садово-парковая разбивка,
гипсовый Версаль кабинетный... И так же там
напомажены
куцые потаскушки на танцах, бумажная их завивка.

И поселковый клуб — глупый, словно Лажечникова
силишься прочитав: скучно-то как, нелепо...
В сейфе забыл фонарик. Вот бы сейчас зажечь его!
Пень или самовольщик? — прищуриваешься слепо...

И недотроги жеманные, хорошенькие учительницы,
сосланные сюда по окончании вуза.
Как они о поэзии беседуют умопомрачительно!
О, если бы не дежурства казарменная обуза,

если б не портупея конская, не повязка
на рукаве шинели... Помните, есть картина
в Дрезденской галерее?.. Губки какие, глазки!..
Топаешь, точно слон, в толще сукна и ватина.

Или — как Санта Клаус с рождественскими подарками
в виде трех суток ареста в ларчике гауптвахты.
Нет угрызений совести. Призрачно все и парками
детскими тебе кажется... Не заблудиться впотьмах бы.

СТАРШИНА

Верхние Важины — рай для прапорщика Пономарева.
Если б еще «псовина» его, Софья Иванна,
не мешала пьянствовать! Даром она здорова
и сама по праздникам выхлестать два стакана —

все ни в одном глазу, чего не сказать о муже:
рюмку — и развезло... По субботам в бане
выдает он белье и портянки, дрожа от стужи,
а в мозгу с похмелья грохочет, как в кегельбане.

Впрочем, он — человек хороший. С собакой Чангой
удивительно так друг на друга они похожи,
что когда капитан Филимонов мигнет: за банкой,
дескать, надо сгонять, старшина! — то собака выходит
тоже

на мороз и садится с «куском» в кособокий «газик».
У шофера-сержанта с танцулек под глазом слива
лиловеет. И с грохотом едут они в лабазик
три бутылки «стрелецкой» купить и на сдачу пива.

А потом за тушенкой и луком бежит на кухню.
Сейф раскрыв, разливает поспешно. Захлебы. Всхлипы.
Как бы кто не *вошла!*.. — «Ну, Арнольдич, давай-ка,
ухни!» —
И смешно полагать, что иначе служить могли бы.

ЧУТЬ СВЕТ

Пономарев постучится в окошко. Больной вид, виноватый, побитый.

— Арнольдич, привет.

Не разбудил? Ну, я врезал вчера, в выходной!..

— Да уж, заметно.

— А выпить чего-нибудь нет?

— Нет. И откуда?

Напасты! Все-то в долг алкаши требуют денег. Рокфеллер я, что ли? И склад здесь винно-водочный? Банным листом — одолжи «чирик», пожалуйста, — липнут; не может — скулят — быть, чтоб рубля-то хоть не было... Ужас какой! Выставить вон бы — у Софы поди поканючь... Кто малодушней — проситель с дрожащей рукой, или просимый — «куркуль», разумеется, «сучье (тут икнули) отродье»?.. Парадный подъезд лезет на ум...

— Может, где и осталось что, глянь?

— Нет, я же знаю.

— Но одеколон-то ведь есть?

— Есть... «Земляничный»...

— Давай!

— Ну такую уж дрянь!..

— Э-э... и еще бы водички и чем зажевать...

.....
Мутная вьюга вливается в глотку — и с ней прежняя наглость... Не надо бы дверь открывать. Нас и в лакеи не взяли бы кто поумней.

В БАНЕ

Артиллеристы у Кирхнера... Ждет их Седан?
Нет, то другая кампания — Марна, Верден...

.....
Пономарев ухмыляется: «Ай да Шалдан!»
У рядового Шалданова — ну до колен,
точно полено!.. А сам-то Шалдан с сапожок
ростом... «На танцы Шалдана возьмем!» — капитан
смачно гогочет, оскалясь... Индусский божок,
коротконогий пузатый китайский болван —
этот Шалданов. По-русски ни «бе» и ни «ме»,
лишь улыбается глупо и нагло, сопляк.
Не представляю я, что копошится в уме
темном, в архаику не проникаю никак...
Впрочем, наверное, глупости! — нет ничего,
ведь не Калигулу в Галлии, право, растим.
Проще бы жить. Подглядели отличие его —
и потешаются вот уж неделю над ним.
«Завтра в Пиздасельгу* все, — Филимонов гудит, —
едем на блядки!.. Шалданчик, откупори бак!..» —
Бодрый в ответ хохоток красномордый летит
мыльный, распаренный, — как же, наш «ротный» —
мастак!

* Педасельга — населенный пункт в Карелии (Примечание автора).

ТАБАКЕРКА

Вдруг меня как обухом ударило
по башке — Sofie Ponomariowl..
Вот кто нас улыбками одаривал
в темных Верхних Важинах под рев
водопадов. Головокружение!
Хороша, Абрамыч, что тут враты!
Не поверишь, представляешь, Женя, я
запросто бы мог ее в кровать
затащить, едва лишь захотелось бы.
Да! Но, знаешь, как-то не влекусь
к сдобности такой и пышнотелости.
Муженька наяривает пусть, —
думал... Ай да финт! Теперь, конечно же,
жалко. Но досаду эту с той
не сравнишь, что по своей беспечности
нам не пишет Пушкин молодой.
Тоже вот отправленный проветриться,
подышать озоном, погулять...
Если б знать, что и ему не терпится
в нас живого Публия обнять!

ВОДОПАД

Чудно: водочка, музычка, мясо с картошкой...
В сальных брючках презрительно дрыгает ножкой
виночерпий, стенограф желаний, хохмач:
«...и селедочку? всё? Потерпите немножко».
Водопад наслаждений! Алмазный «Кивач»!

Ресторанчик для заиндеветших в глубинке
солдафончиков. «Девочек» дряблые спинки
лиловеют... Ау, «декабристка», мороз!
Алкогольная нимфа!.. Как врет без запинки
Филимонов, ей в ухо засунувши нос.

Всем затылком терплю лошадиные пляски.
«...служба тяжкая, знаете, хочется встряски,
ласки, нежности...» Под руку двинут бедром,
рюмку выплесну. «...что ж вы всё прячете глазки?»
«...хи-хи-хи!» И оркестра тарелочный гром.

«Вы уж, шеф, как хотите, а я-то — в общагу...»
Шеф печально глядит на меня, бедолагу...
Прохожу сквозь шпицрутенный скачущий строй.
И метель серпантинную вертит бумагу:
«На перловой груди оживится герой!»

В ГОСТИНИЦЕ

Номер в «Северной» снял — фешенебельней нету отеля.
Неужели все сессии кончились? Ну и дела!
Или взгляд мой звериный ее поразил? Еле-еле
поломалась за стойкой и ключик волшебный дала.

Все не верил, пока ковырял им в замке... Да,
двухместный!
И пустой! Завтра утром на станции встречу жену...
Ослепительный лен дезинфекцией пахнет, невестой,
хризантемою, астрой... Скорее под душ сигану.

И в постель... Ресторан подо мной разъезжается. Двери
дребезжат. Чернота разворочена фарами. Скрип
зимних крепких ботинок. На всяком висит кавалере
длинношерстный зверек... Лимонадом разлить
не могли б!

В коридоре проржут фиолетово-рыжие финны.
Вот бы в Хельсинки мне... в некусаемый локоть... как
жалы!

Санаторный мирок. Белизна санитарной Альбины.
Ожиданья и дремы едва уловимый миндаль.

МЕРОПРИЯТИЕ

Офицерские сборы... Такой перегар утром — в актовый зал невозможно войти. Всё никак не начнут. Десять сорок. Кошмар! Для чего приказали прибыть к девяти? Кто бы пива принес?.. Поминутно майор забегает какой-то, «сейчас, — говорит, — начинаем...» Еще полчаса. В коридор, осмелев, покурить выползаем. Горит, раздирает!.. Намылились, кто понаглей, озираясь, с вещами уже выходить... Вдруг обратно всех гонят. «Полковник Палей вам сейчас доведет...» Ничего доводить он не может. Он тоже на сборы в Москву только что улетел... И опять беготня. Наконец на пятнадцать минут: «бу-бу-бу...» Записали? Адью!.. И как не было дня.

КОМБАТ

Все-то есть. Потому так и мрачен. Ну невпроворот!
Генеральские даже добыл на меху сапоги.

Сам начПО к нему ходит за мясом, поскольку начпрод,
старший прапорщик, — кореш его. И начальник ВАИ,
тоже прапорщик (издали выглядит маршалом) — «брат»
(так они выражаются)... Мелочи нет, колбасы.

.....
«Ну-ка, Пурин, гони-ка на свой выходной в Ленинград,
отдохни-ка, дружище, — в ручные таращась часы,
говорит. — Что из дому-то пишут?.. «Любительской»

нам
захвати пару палок... Давай-ка иди, оформляй...»
Я — бегом. Как не знать деловой наш бардачный

бедлам?
Все в трудах и заботах! Все в мыле! Вот-вот через край!..
Полчаса мне осталось, поскольку обедать он в два
уезжает. И мигом все — деру! Шаром покати.
Капитаны — вприпрыжку. Солдаты — вразвалку. Трава
не расти!.. Наизусть заучили: вернется к шести.

НОВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ

«Ну балда! — о Луканине все говорят. — Ну дебил!»
Клички *Тумба* и *Шайба* получены им от солдат.
Говорят, что не пьет и не бьет потому-де, что бил, насифонясь, да так, что едва не сыграл в дисцебат, оттого завязал... Ну, не знаю... Пудовый кулак и кошмарная ряска. Но все же не пьет и не бьет, Льва Толстого читает, поскольку — природный туляк и уставом любого нахала до слез доведет.
На разводах зимою по сорок минут говорит, что не пьет и не бьет, что крупу не дает воровать, что к труду приучает, что маршал поблагодарит за отличную роту его, если здесь побывать удосужится, что он (по-своему) тоже велик, как Толстой (тишина!), тягомотный читает указ в пятый раз (а мороз-то!), абзацы из тоненьких книг о последствиях пьянства, Козлова зовет «ловелас», потому что пролаза Козлов и известный хитрец...
Ах, куда же, куда же, куда же я это попал?
Так от пьяниц измучился жутких. И вот наконец посчастливилось — свой долгожданный нашел идеал!

PROBLÈME

Пять пар кальсон (спасибо, Галифе!)
с утра надел и в стужу выхожу.
И ватный шлем ушной на голове.
Весь в пражках. Весь подобен багажу.
Тюфяк я, тюк натужный, саквояж.
Захочешь брызнуть — дудки! — фиг найдешь.
Вспотеешь, рывшись. Вытащить бердаш,
что Карбышева, страшно из одеж!

К тому же негде. Гласности сродни
вискозный куст и рухнувший забор...
Вот! Вот пропажа!.. Спрячь. И застегни.
С чего вдруг все повылезли из нор?
Лишь театральной люстрою мороз
зажгли, как ожил вмиг партер села:
то лыжник пробежит, то водонос...
Быть может, смерть — не оттепель — прошла?

МЕТЕЛЬ

На первой, лесной, насосной, честное слово, сам
служил бы. А уж зимою — пансионат совсем.
Кто лыжи к пяткам прицепит? Ни «папа», ни я,
ни прапорщики... Уморал! К тому же сдувает в семь
ни «зам»,

меня и «зама», а «папа» тяжеловат на подъем.
И если в нас — центробежность, в нем
центростремление сильно́.

Засядет запорно в роте... А мы в это время пьем
по избам бразильский кофе, глядим, развалясь, кино

по финской программе, курим. Считается, что один
из нас — в лесопильном цехе, другой проверяет все
подсобные подразделения... Плети кружева, ватин,
всё-всё заноси, ворсистый товарищ, во всей красе

кружись!.. Через час в казарму заявимся — все в снегу,
осунулись от усердья, проверщиков нет верней!
Домой бы нам, дескать, сбегать, чайку бы попить?..

«Угу...
ага... отдыхайте до завтра... еще посижу...» Видней,

конечно, ему. Посиди! У Кострейчука — запой.
От Нермана «Гольден Стар'ом» за десять шагов разит,
бальзамчиком конспиративным... Хрустальный такой
покой,
как будто здесь центр вселенной, над нашей дырой
разлит.

НОЧЬЮ-1

У солдат не жизнь — рахат-лукум —
за полночь, когда уйдут начальники:
беготня, возня, шурум-бурум
в спальном помещенье, в умывальнике.
В смрадной хлебрезке — чай и плов
для особо избранного общества
земляков. Тишайший Соколов
начал адвентистские пророчества.
Телевизор финскую шизню
выдает. Лежи себе, попыхивай
папироской... Ай, какие ню!
Чуваки какие и чувихи!
Баночный намазывают сыр,
надувают шар в рекламном ролике...
Хорошо, что ночь вокруг, что мир —
ну, за исключением малой толики.

ПАМЯТИ АЛЕКСАНДРА

Пышные, но еще упругие, без гнильцы, персидские
розы;
и фиолетовые, чуть деформированные ягоды винограда
в тесной, тяжелой грозди; и дремлющие стрекозы
на маслянистых листьях; и мраморная прохлада

анфилады сводчатых залов княжеского дворца в Герате;
и прозрачный проточный пруд под разлитой олифой
зноя;
и ландшафт, измятый как после потных объятий
простыня; и узоры топких ковров; и сквозное

кружево парашютов и вертолетов в тугой лазури;
и резная глазурь минаретов, похожих на шампиньоны
силуэтами; и приторные мелодии, о Радже Капуре
напоминающие; и сверкающие на солнце алюминиевые
баллоны

для природного газа; и все столетья, что сзади;
и все годы, что впереди, с бессмертием вместе —
называются «Азия» и — неизвестно ради
чего — замыкаются в гроб из оцинкованной жести.

НОЧЬЮ-2

Перед дембелем что за наряды солдатики шьют:

с эполетами и аксельбантами, боже ты мой!

Ночью в роту зайдешь, а в бытовке — такой вот

♦махмуд♦...

Гватемалою дунет, Гаити лиловым, тюрьмой!

То ли маршал Лон Нол, то ли, скажем, Самора Машел.

И другие, такие же, в золоте, из-за угла

начинают выглядывать... И побелеешь, как мел, —

вот туркмен, и зовут его, чур меня, Хафиззула!..

Крикнешь: ♦Черт подери! Где дежурный по роте? Отбой!

Марш в кровати!♦ — Улягутся. Ты — за порог, снова —

шить...

Хорошо, что хоть эти приятели между собой

фракционные споры пока не смогли заглушить.

ВЕЧЕРОМ

«Герцеговину Флор» закуришь, жаркий коньяк
в рюмку нальешь. А за слюдой — сугроб
чуть ли уже не до форточки и волосатый мрак,
хрупкий фарфор всех марок и серебро всех проб.

А если в роту пойдешь, тесный надев тулуп,
звонким, как статуэтка, сделаешься, — такой
твердый мороз. И колбы дыханья от мятных губ
падают и хрустят осколками под ногой.

А в телевизоре млечном — аквариум ледяной,
зябкие содроганья, шведско-норвежский бред...
Вот где хмельной Валгаллы голубоглазый зной!
Вдрызг капитан Гордейчик пьян. И управы нет.

А посему в его роте — крики и беготня.
Ловят кого-то. О стенку липкий разбит графин...
То ли на воспитанье им не хватает дня,
то ли совсем загрызло однообразие вин?..

Можно пройтись до озера и поглазеть на насос
сломанный, можно в котельной илистый пар вдохнуть...
И хорошо! Самовольщиков нету в такой мороз.
Рыбкой себя ощущаешь в такую муть.

У ДВЕРИ КОТЕЛЬНОЙ

Среди ночи в котельную дверь отворяю — «Playboy»!
На крючок бы закрылись, топчан затащили б за шкаф,
потушили бы лампу!.. В одних сапогах рядовой
Бурлаков... Кладовщица, его оседлав...
Отшатнусь. Слава богу, не видят вокруг ничего
и не слышат за бульканьем, гулом... В смущении дверь
прикрываю... Да пусть. Удивляет лишь выбор его —
тридцатипятилетняя душнозамшелая тверь.
Замуж хочется, вот ведь! Троиخ по котельным детей
нагуляла ушастых. Остыть не хватает ума.
Скоро дембель. Ликуя, пузато-обиженной, ей
из вагона помашут... Толстовские надо б тома
пролистать. Но куда там! Присоской у роты живет.
Или мужем ей кажется вся подшинельная плоть,
двухгодичная вечная юность? Тяжелый живот
плодоносит, не в силах супружеский долг побороть?

О КРАСКЕ

Что бы еще-то вспомнить о службе в смешливой армии,
в придурковатой Карелии, как бы еще напрячься?
Там и природа какая-то жидкая, грязно-марлевая,
слизисто-элизийская, призрачная, стоячая.

И березняк там какой-то зябкий, алкоголический.
Вот еще шаг — и кончится всякая ойкумена...
Там древесины такое качество и количество,
как в эпицентре тунгусского феномена...

То на плацу вдруг гаркнет глоточным матюгальником
прапорщик, точно чучело, туго набитый ватой.
То замполит притащится, и дураком-начальником
надобно восторгаться с рожей молодцеватой.

Вроде незрелого яблока, вроде железной маски
сводит улыбочка лживая челюсти мне и щеки.
«Пурин, покрась казарму!» (Нет и не будет краски.)
Но пустота: «Так точно!» — в цинковом водостоке...

«Краску тебе пришлем». Краски вовек не будет...
То солдатню гоняешь пьяную, обалделую
до четырех утра... Милые все мы люди.
И никому-то до нас нет никакого дела.

ФЛЮОРОСТАНЦИЯ-1

«Флюоростанция» — слово какое! В строке
не уместится. Все норовит это «о»
шариком теннисным выпрыгнуть... Стрельбище
вспомню в леске —
так вот патроны в обойму вставлял: одного
все не уложишь, как если бы пальцев у нас
не доставало, — нажмешь, вылезает другой.

«Флюорографию, хлопцы, проходим сейчас.
Вольно. Заправиться. Форма одежды — нагой
торс. Командирам проверить состав... Становись!
Смирно! Равнение в шеренгах. На месте шагом-м...
Марш! Ногу взяли... и-раз-два!» — И вертится мысль:
словно силлабо-тоническим пишешь стихом...
«Окает» кто там и портит? «Баранов, оглох?
Раз-два-три, раз-два-три... Прямо! Носочек!» Ну вот —
вроде пошло, полетело. И выдох и вдох
уравновешены. Катится, дышит, живет.

ФЛЮОРОСТАНЦИЯ-2

Не страшновато ли, грудь упирая в стекло, в сейфе стоять на коленях почти что, задрав вверх подбородок? Германией как понесло! Францией хрустнуло!.. Или у голого прав нет? Допризывникам гонор не так ли и спесь тучные дяди сбивают за красным столом? Током убьют, как цыпленка? Элизиум весь внутрь спиритический впустят, как в призрачном том, помнишь, романе, где гамбургский Коля Ростов истосковался по доблестной шпаге своей в высокогорном Давосе?.. О, сколько ходов у лимфатической памяти, сколько у ней пор, капилляров петляющих... Новокаин, анестезия блаженная! Что бы от нас в липком наплыве косых фиолетовых спин, рыжих подмышек, ушей оттопыренных, глаз — и оставалось?.. Где наш отшлифованный строй? Флюоростанция лишь кофемолкой гудит... Опустошенно выходят. И курят. Сырой даже у шуток, какой-то потерянный вид.

ЖАРИЩА

Осатанелое какое лето в Мотке!
В стеклянной трубочке свинцовый Цельсий спятил,
вспотел. Но вытереть лицо ему — пилотки
своей не вытянет из-под ремня приятель.

Ни Реомюр, ни Фаренгейт. Поблажки,
увы, не свойственны надутой загранице.
Зато у нас, хоть прикури от пряжки,
никто не чванится, никто не сторонится.

Вот капитанище наш, до трусов раздетый,
всех-всех желающих зовет с собой бороться.
Какое зрелище! Чудовищной приметой —
овечьи заросли слепого первородства.

Иаков, стерпит кто борцовские объятья?..
На ужин выдана все та же чечевица.
Посудомойщица (мне кажется — без платья)
по залу мечется в халатике, как птица.

Нет, надо выкупаться, как-нибудь встряхнуться.
♦Эй, с полотенцами для оргкупанья — стройся!..
Да, можно — в тапочках... Да, можно расстегнуться...♦
Все разрешается. И день прожить — геройство.

ОРГКУПАНИЕ

Купанье потных коней представляешь, армии Тамерлана
жадные, гибкие заросли видишь, самшитовые побеги...
Под масленичным знаменем служишь?.. Бежит,
горланя,
Азия, прыткие пятки в русский песок Онеги

вдавливая. Освободилась от полинялой ткани.
О, гуталиновый смрад, пасмурный зной Хартума!
Или я в узкоглазом вашем Узбекистане,
шелково-полосатом, в танкерном чреве трюма

сплю? А вокруг цветут Арабские Эмираты
розовогрязноватой накипью нефтеносной...
Уж не мираж ли служба-то? Аты-баты!
Не идиотство ли вид деловито-грозный?

Негоциантом, работорговцем можешь
вообразить себя или Нероном даже!
Только тогда помрачнее еще, построже
нужно глядеть, понаглей — как полковник, скажем.

КЛУБ

Кинемеханик Мухтаров миндалевидный взор
свой на меня устремляет, и преданность в нем сквозит:
дескать, нэ бэспокойтс, тварщ лэйтэнант!.. На двор
только я выйду из клуба, завалится, паразит,
дрыхнуть, вместо того чтоб стенды красить. Окабанел!
О, какво ж мне это, как в воду-то глядя, знать?
Но и торчать не хочется, осточертели — мел,
краски. Уж третий месяц мне лень Кириленко снять...
И вообще, наш клуб средневековый Рим
напоминает и тришкин отечественный кафтан.
Пыльный могильник лозунгов. Что за рядом над ним!
Всю черепицу украли. Из батарей — фонтан.
Лучше пойду прогуляюсь. До увольненья в запас
грибов засушу чемодан. Уже и сентябрь в листве.
А к римской громоздкой цифре палочку пусть без нас
преемники пририсуют. И даже, пожалуй, две.

ТАНЦЕВАЛЬНОЕ

— Ну же, полно выскальзывать, крошка, пипетку в муравейничек рыжий, пушистый, пусти! Хватит глазки подкатывать, сизую ветку перед носом вертеть! Не могу взаперти, погляди, больше я находиться, — раздуло галифе... Сколько можно ломаться?

— Но-но!

Слишком скорый. Черкес! Ха-ха-ха! Из аула? Ну-ка, вытащи руку оттуда...

Темно

за разрушенным клубом. И музыка в щели, как из ветхой шарманки, сочится.

— Ну брось.

Ну пошли, телевизор посмотрим...

— В постели?

Размечтался! (Всего, дескать, вижу насквозь.)

Так ничем и не кончится.

— Завтра на мясо

подпиши накладные... Отстань же... Пойду...

Потолок осыпается в клубе от пляса.

Щепка лезет на щепку. Звезда — на звезду.

ПОСЛЕ ТАНЦЕВ

С азиатской грацией, как у Реза Пехлеви, шах-ин-шаха Ирана покойного, по вечерам шестиклассниц «мамеды» прогуливают, в любви, вероятно, им объясняются... Просто срам — до какого уровня нравственность на селе докатилась! — негодование во мне бурлит. Вот сейчас покажу я вам «Шурале», «Танец с саблями», и понюхаете горлит предварительный!.. Где патрульный? Ах, тоже там? Ну я вас!.. — остываю уже. А в малиннике —

«жу-жу-жу...»

Не ловить, не бегать же по кустам, ослепляя стрекоз фонариком... Доложу лучше завтра, наябедничаю на ушко капиташке, — такой, представляю, закатит цирк! Все либидо повывлетит из котелков, рококо, — хрупко зубы сожмут, лишь миндалинами зырк-зырк исподлобья... Великолепная нынче ночь — дунаевская, широкогрудая, у реки! Ах, и я бы под ручку с рыбкой пройтись не прочь, пузыри попускать. Только эти — совсем мальки. Сероглазые. Сероволосые. Хворостин, что ли, нет у родителей? Затосковал? Июль... Ворочусь, телевизор включу — те же шашни, тот же хитин, кружева, ожерелья... Фантастика! «Феликс Круль»?

ЕВРАЗИЙЦЫ

«Смерть в Венеции» показывают финны и еще похлеще
фильмы, словно умер я уже или уехал:
высунется рожница малайская, зловещая,
из прибрежных зарослей, лаково-ореховая...

Или сон мне это снится повторяющийся,
зарубежный и многосерийный, ретро?
Что за пава разомлела водоплавающая
и дрожит ресницей, вроде амперметра?..

А у нас тут Азия Передняя, обилие
миндаля, лишь фесок нет и ятаганов.
Вьются и ползут членистоногие фамилии —
Меретмухаммедов, Оразгелькалганов,

Мехтикуллгаллиев... Не Мичурин ли
их посредством скрещиванья вырастил?
Завезли дичок в Карелию и окультурили?
Среди стужи плодоносит, мглы и сырости.

О, цветенье конопляно-маковое,
наркотическое, из Индокитая!
Ледяные кольца зигфридовы плакали, —
потупляются Кримхильды и подтаивают.

И скандальная у прапорщика Цебрия история —
разродиться турком дочка собирается...
Сербия какая, Черногория
в нашей темной Скандинавии, Аравия!

ВОЗДУХОПЛАВАНИЕ

Перед нарядом уставом предписано спать.
Днем! Генеральские штучки... Никак не уснуть.
Крутишься, вертишься. Плюнешь. Грибы собирать
лучше пойти. Восхитительно — кеды обуть
и трикотажный костюм невесомый надеть.
Как цеппелин, над служебным кишеньем плывешь.
Выспимся ночью. Приелось усердьем гореть.
Дела мне нет, я к наряду готовлюсь, не трожь!
Словно бы в отпуске...

Ну и разруха у нас!
Ковентри мирной эпохи. Помойка. Бомбить
нечего даже. Гигантский торчит керогаз
ржавый. Не помнит никто, чем должно было быть
это. Каким-нибудь цехом? Распалась в спирту
память, истлела, сошла, как белесый плакат...
Кительними, и такую увидишь тщету,
непоправимый такой вавилонский закат —
дух перехватит! Янтарно-сухая возня.
Зуд созидательный. Труд формалиновый наш...
Нет, я не трону. Но как подмывает меня!
То-то забегают, только носочком поддашь.

С ПОДЪЕМНОГО КРАНА

Загляну в бинокль — и пленкой Пазолини
в глубине стеклянно-ледяной,
двойной —
сладостный Багдад муслиновый, павлиний
пастилой скользнет передо мной:
озеро лесное, малолетних пиний
слюдяное марево, сквозной
синий-синий,
нет, — сине-зеленый зной;
голый пластилин — на пластилине
голом, поплавок с блесной...

Потные Султанов и Надинов
с парочкой блядей...
Ай да елдаки у аладинов! —
Европеец, рдей
и гляди, что делает с ундиной
смуглый чародей,

заклинатель слизистого гада,
зыблемый тростник...
Или вновь зажгла Шехерезада
свой ночник?

.....
.....
.....
.....

О, не надо
этого вязанья, этих книг,
этого занудного Синдбада!..

.....
.....
.....
.....
.....

Ах, но кайф — из башенки слоновой
сквозь спинозу в рачьей скорлупе
видеть рай — зеленый, двухмандовый,
газават еловый!

И ислама милого глупей
только, только русый ус медовый
(пососи его, попей!

Да не так! Со всей мордвой и мовой!)
и держава портупей!

НОЧЬ В КАПТЕРКЕ

Где ремни развратные сплетаются, поскрипывая,
бляхами слепа, среди небритого сукна,
сорная Венера выпросталась липовая,
 вырастает, всхлипывая,
клевер одурелый, белена —

 розоватая, зеленоватая,
петрокрест угрюмой бирюзы —
Афродита серба и хорвата,
острыми серпами воровато
жнущих ужас в зарослях кирзы.

Там гюрза качается раздутая —
потным Вавилоном под луной,
 спутывая, путая
выпуклые дыни, плоский зной...
О, Киприда, уранида лютая,
жуток мне твой облик неземной!

Дозаправка в олове предгрозя,
рев турбин в распаренной борьбе
с пустотой... Так бьется полость козья.

 Так сплелись в алчбе
колкие усатые колосья —
 их узрю ли врозь я? —
на родном копеечном гербе.

БЕЗ НАЗВАНИЯ

**Танцулька клубная, потом запарка спариванья.
Житье солдатское, щетинистое, мокрое,
в затекшем мареве бредовом прокемарено,
в двухлетнем заводном кинематографе.**

**Рябая, серенькая дурь полупрозрачная,
тупое донорство, прикрытое зевотиной,
банально-стыдная, сырая связь внебрачная,
побочная с нечистоплотной родиной...**

**Любой ведь доблестью готов блеснуть при случае,
ребристым мрамором и бицепсом фарфоровым...
Заткнись, пичужечка! Довольно выкаблучивать
про бравого тушканчика Суворова.**

**Про альпиниста — баста! — итальянского.
Уймись, фальцетная в сквозной авоське Сенчина.
Кино закончилось, и выхожу затисканый,
полузадушенный, живой и беззастенчивый.**

1983—1985, 1991

СОДЕРЖАНИЕ

ДРУГИЕ СТИХОТВОРЕНИЯ

Алекسانдро-Невская лавра	7
«Давай печаль развеем — в сад...»	9
Конец сезона. Начало семидесятых	10
Лесное озеро	12
Филармония	13
Новый Эрмитаж	14
«Свалка стрекоз в саквояжах трамвайного парка...»	15
Крестовские корты	16
Елагин остров	17
В театре	18
Поликлиника	19
Севастополь	20
Южнобережное	21
Митрохин	23
«С консервной баночкой запаянной ужасной...»	25
Станция Чоп	26
Будапештский экспресс	27
Метро	28
В дни съезда	29
Святой Себастьян	31
Винкельман	32
Кузмин	33
«Всадник-легат Афанасий Фет...»	34
«На столе — Чикаго тридцатых годов, вокзал...»	35
Jalta. Free shop	36
Ныряние с мола	39
Амстердам	40
Тритон	41
Нижегородские ахи	42
Художнику	48
На башню	49
«Ледяные залпы ночной волны...»	50

ЕВРАЗИЯ

Внутренняя рецензия	53
Снигирь	54
Новогодний наряд	55
Старшина	56
Чуть свет	57
В бане	58
Табакерка	59
Водопад	60
В гостинице	61
Мероприятие	62
Комбат	63
Новое назначение	64
Problème	65
Метель	66
Ночью-1	67
Памяти Александра	68
Ночью-2	69
Вечером	70
У двери котельной	71
О краске	72
Флюоростанция-1	73
Флюоростанция-2	74
Жарища	75
Оргкупание	76
Клуб	77
Танцевальное	78
После танцев	79
Евразийцы	80
Воздухоплавание	81
С подъемного крана	82
Ночь в каптерке	84
Без названия	85

Пурин Алексей Арнольдович
Евразия и другие стихотворения
«Пушкинский фонд», Санкт-Петербург, 1994
СПб., наб. р. Мойки, 12

Редактор *Г. Ф. Комаров*
Корректор *В. Г. Комарова*

ЛР № 030448
от 10 ноября 1992 г.

Офсетный участок ТОО «ИНВЭКО-ПРОЕКТ»
С.-Петербург, пр. Гагарина, д. 1
Зак. 144. Тир. 500.

